

III. Вивиани и А. Тома в Петрограде.

Понедельник, 24 апреля.

Бриан телеграфировал мне, что министр юстиции Вивиани и Альбер Тома, товарищ министра артиллерии и военных снабжений, направляются в Петроград для установления еще более тесных отношений между французским правительством и русским.

Я немедленно уведомляю Сазонова, который обещает подготовить им наилучший прием. Обещание это он дает очень охотно и любезно, но я замечаю у него тайное беспокойство: он долго расспрашивает об Альбере Тома, пламенный и заразительный социализм которого ему не по душе.

Я указываю ему на поведение Альбера Тома во время войны, говорю об его патриотизме, его редком уме, умении работать, его стремлении поддержать согласие между рабочими и предпринимателями, одним словом, о всем его напряжении сил и таланта для служения „священному союзу“.

Сазонов, как человек сердечный, тронут моим панегириком.

— Я передам все, что вы мне сказали, императору. А вы хорошо сделаете, если сами повторите то же самое Штюрмеру и его присным.

Вторник, 25 апреля.

Я был сегодня днем на чашке чая у княгини Л..., очень приятной пожилой дамы. Ее сохранившиеся тонкие черты и живость речи очаровательны и отражают ее светлый ум, чуткое сердце и разумную снисходительность, которая бывает у тех, кто много жил и много любил. Я застал у нее ее близкого друга, графиню Ф..., муж которой занимает крупную должность при дворе.

Мое появление прерывает их беседу, которая, по-видимому, касалась невеселой темы. Вид у обоих удрученный. Графиня Ф... почти немедленно уехала. Разговаривая с графиней, я замечаю, что в ее глазах отражается какая-то скорбная, неотступная мысль. Мне хочется узнать, в чем дело.

Я вспоминаю, что граф Ф... очень близок к государю и государыне и что он не скрывает ничего от своей жены; я начинаю издали расспрашивать мою собеседницу:

— Как себя чувствует император? Я давно ничего о нем не слышал.

— Император попрежнему в ставке и, кажется, никогда так хорошо себя не чувствовал.

— Он не возвращался на Пасху в Царское Село?

— Нет! Он впервые не был вместе с императрицей и детьми у Пасхальной заутрени. Но он не мог оставить Могилев: говорят, скоро начнется наше нашествие.

— А как императрица?

На этот как будто простой вопрос, княгиня отвечает взглядом и жестом, полным отчаяния. Я молю ее

объяснить мне, в чем дело. Она мне рассказывает следующее:

— Представьте себе, что в прошлый четверг, когда императрица причащалась в Федоровском соборе, она пожелала, она приказала, чтобы Распутин причащался вместе с ней. И этот негодяй причастился тела и крови Христовых рядом с ней... Вот, о чем мне только что говорила мой старый друг, графиня Ф... Как это ужасно! Вы видите, я совершенно расстроена.

— Да, это ужасно. Но, в сущности, императрица только последовательна. Раз она верит в Распутина, раз она считает его праведником и святым, преследуемым фарисеями, раз она сделала его своим духовным руководителем, своим ходатаем перед Христом,—то вполне естественно, что она хочет видеть его рядом с собой в самую важную минуту своей религиозной жизни. Я должен сказать, что эта бедная, сбита с толку душа внушает мне глубокое сострадание.

— Будьте сострадательны, господин посол, к ней—но также и к нам. Подумайте, какое будущее нам все это готовит...

Среда, 26 апреля.

„Ничего“. Вот слово, которое чаще всего повторяют русские люди. Постоянно, по всякому поводу произносят они его беспечным или безразличным тоном. „Ничего“ в переводе: это все равно, это ничего не значит.

Это выражение настолько обычно, настолько распространено, что приходится видеть в нем черту национального характера.

Во все времена были эпикурейцы и скептики, обличавшие тщету человеческих усилий, даже находившие наслаждение при мысли о всеобщем самообмане.

Идет ли речь о власти, о богатстве, о наслаждении — Лукреций всегда прибавляет: „Nequicquam!“, что значит, в переводе: „Одна суета“. Но значение русского „ничего“ совсем другое. Этот способ умалать цель стремлений или заранее признавать тщету всякого начинания является обыкновенно только самооправданием, извиняющим отказ от стойкого проведения своих намерений.

Вот несколько дополнительных сведений, из очень верного, хотя и секретного источника, об участии Распутина в причащении императрицы.

Обедню служил отец Васильев в разолоченной нижней церкви Федоровского собора; церковь эта небольшая и архаичная по формам; ее стройный купол выделяется на фоне высоких деревьев императорского парка и кажется пережитком или воскрешением московского прошлого. Царица присутствовала с тремя старшими дочерьми; Григорий стоял позади нее вместе с Вырубовой и Турович. Когда Александра Федоровна подошла к причастию, она взглядом подозвала „старца“, который приблизился и причастился непосредственно после нее. Затем перед алтарем они обменялись братским поцелуем. Распутин поцеловал императрицу в лоб, а она его в руку.

Перед тем „старец“ подолгу молился в Казанском соборе, где он исповедался в среду вечером у отца Николая. Его преданные друзья, г-жа Г... и г-жа Т..., не оставлявшие его ни на минуту, были поражены его грустным настроением. Он несколько раз говорил им о своей близкой смерти. Так, он сказал г-же Т... „Знаешь ли, что я вскоре умру в ужаснейших страданиях. Но что же делать? Бог предназначил мне высокий подвиг погибнуть для спасения моих дорогих государей

и Святой Руси. Хотя грехи мои и ужасны, но все же я маленький Христос"... В другой раз, проезжая с теми же своими поклонницами мимо Петропавловской крепости, он так пророчествовал: „Я вижу много замученных; не отдельных людей, а толпы; я вижу тучиtrupов, среди них несколько великих князей и сотни графов. Нева будет красна от крови“.

Вечером в пятницу на Страстной Распутин уехал в свое село Покровское, близ Тобольска; г-жа Т. и г-жа Г. поехали вслед за ним туда же.

Четверг, 27 апреля.

Я посетил сегодня г-жу Д., которая отправляется в свое имение, расположенное в черноземной полосе, к югу от Воронежа.

Она человек серьезный и деятельный; очень интересуется жизнью крестьян; она разумно заботится об их благосостоянии, их образовании, их нравственности. Я расспрашиваю ее об религиозных чувствах русских крестьян. Она считает их веру очень простой и наивной, но глубокой, мечтательной, проникнутой мистицизмом и полной суеверий. Особенно легко они верят в чудеса. Личное вмешательство божества в человеческие дела им нисколько не кажется противоестественным, а, напротив, вполне понятным. Раз бог всемогущ, то что же удивительного в том, что он исполняет наши молитвы и дарует иногда подтверждение своего милосердия и доброты? По их представлениям, чудо—явление редкое, исключительное, необъяснимое, на которое нельзя рассчитывать, но которое, само по себе, кажется им совершенно естественным. Наше понятие о чуде, как раз обратное, предполагает знание сил природы и их законов. Знакомство с научными методами и с есте-

ственными науками является основой веры в сверх-естественное или его непризнания.

Затем г-жа Д. указывает мне еще на одну черту, очень характерную для русских крестьян и очень жуткую: их способность неожиданно и внезапно переходить из одной крайности в другую, — от покорности к бунту, от апатии к бешенству, от аскетизма к разгулу, от кротости к свирепости; она кончает такими словами:

— Мужиков наших потому так трудно понять, что в их душе таятся одновременно самые противоположные возможности... Вернувшись домой, возьмите Достоевского и найдите в „Братьях Карамазовых“ то место, где он дает образ „мечтателя“ и тогда вы никогда не забудете моих слов.

Воскресенье, 30 апреля.

Сегодня вечером Кшесинская выступила в Марийском театре в „Жизели“ и „Пахите“, в этих шедеврах прежнего балетного искусства, столь условного и акробатического; в этом жанре блистали когда-то Фанни Эльслер и Тальони. Недостатки и достоинства главной исполнительницы еще подчеркивают архаизм обоих балетов. Кшесинская лишена всякого шарма, увлечения и поэзии; но старые ценители восхищаются холодным и строгим стилем танца, неизменной силой ее пуантов, механической точностью ее антраша, головокружительной легкостью пируэтов.

В последнем антракте я захожу в аванложу директора императорских театров Теляковского. Там поют дифирамбы искусству Кшесинской и ее партнера Владимира. Старик флигель-адъютант говорит мне с тонкой улыбкой:

— Наше восхищение кажется вам несколько преувеличенным, господин посол, но для нас, для людей моих лет, в искусстве Кшесинской есть что-то, для вас, быть может, неуловимое.

— Что же именно?

Он предлагает мне папиросу и продолжает в мягком тоне:

— Прежний балет, которым я восхищался в молодости,—к сожалению, это было около 1875 г. в царствование незабвенного императора Александра II,—тот балет давал картину того, чем было и чем должно было быть русское общество. Порядок, выдержка, симметрия, законченность. И в результате,—тонкое удовольствие и возвышенное наслаждение. Теперешние же ужасающие балеты, этот „русский балет“, как вы его зовете в Париже, распущенный и отравленный, ведь это революция, это анархия...

Понедельник, 1 мая.

Англичане 29 апреля понесли серьезное поражение в Месопотамии. Генерал Тоуншенд, укрепившийся в Кут-Эль-Амара на Тигре, принужден был сдать, за истощением продовольствия и снарядов, после ста сорока восьми-дневной осады; от гарнизона оставалось всего 9.000 человек.

В то же время в Ирландии вспыхнуло восстание, подготовленное германскими агентами. В Дублине происходили настоящие кровопролитные бои между восставшими и английскими войсками; лилась кровь и горели дома. Кажется, в конце концов, порядок был восстановлен.

Среда, 3 мая.

Русское верховное командование обменялось телеграммами с французским по поводу уже давно обещанного выступления Румынии.

Генерал Алексеев указывает на то, сколь чрезмерны и неразумны требования румынского генерального штаба; генерал Ильеско объявил, что не может удовлетвориться условиями, уже принятыми, а именно: 1) наступлением Салоникской армии, с целью оттянуть часть болгарских сил и 2) вступлением русских войск в Добруджу, для нейтрализации остальной части болгарской армии. Теперь он требует занятия русскими всей местности у Рущука, на правом берегу Дуная. Генерал Алексеев совершенно правильно заявил генералу Жоффру следующее: „Это новое требование заставило бы нас занять всю линию Варна, Шумла, Разград и Рущук. Даже если-бы мы согласились на эту операцию, которая передвинет наш центр к югу и на самый левый фланг, Румыния немедленно предъявила бы новые требования, чтобы выиграть время до того момента, когда румыны, как они уверены, без жертв могут получить то, к чему стремятся. Нужно дать понять Румынии, что ее присоединение к союзу не безусловно необходимо союзникам. Она может, однако, в будущем рассчитывать на компенсацию, соответствующую затраченным ею военным усилиям“.

Генерал Жоффр сообщает мне о полном своем согласии с генералом Алексеевым:

„Я, как и он, думаю, что полезно раз'яснить Румынии, что ее участие в войне желательно, но что без него можно обойтись; если Румыния желает в будущем получить те компенсации, к которым стремится, она

должна оказать существенную военную помощь в требуемой нами форме“.

Четверг, 4 мая.

Вивiani и Альбер Тома придут сюда завтра вечером. Вчера в газетах сообщалось об их приезде; это известие произвело на всех сильное впечатление. Имя А. Тома полно значения для рабочих. Другие чувства вызывает оно в правых кругах. Сегодня был у меня Коновалов, московский депутат, либерал, владелец больших бумагопрядилен, человек с широкими взглядами, сочувствующий всем гуманитарным утопиям; он был у меня, как представитель Военно-Промышленного Комитета; он товарищ его председателя. С ним был один из его политических друзей, Жуковский, председатель Комитета Торговли и Промышленности. Коновалов передает мне, что председатель военно-промышленного комитета Гучков не может быть у меня, так как он задержан болезнью в Крыму, и от его лица выражает желание возможно скорее вступить в сношения с Альбером Тома:

— Наш центральный комитет сосредоточивает в себе работы всех местных комитетов; он состоит из 120 депутатов от союза городов и земского союза, от петроградского и московского самоуправлений, от губернских земств и, наконец, от рабочих. Из 120 депутатов—10 рабочих. Мои коллеги и я очень хотели бы, чтобы Альбер Тома посетил наше заседание; мы много ждем от его речи и все, что он скажет, станет известным на заводах.

Я отвечаю, что считаю это не только возможным, но и желательным, что, действительно, его речи находят отклик и у рабочих, и у предпринимателей; но что

я рассчитываю, что комитет благоразумно не допустит обращения этого посещения в политическую демонстрацию...

Пятница, 5 мая.

Сегодня утром арестован и отправлен в Петропавловскую крепость бывший военный министр, генерал Сухомлинов. Известно, что он допускал крупные злоупотребления. Утверждают, что, кроме того, он изменник; но я в этом сомневаюсь, если подразумевать под изменой сношения с врагами. Я не думаю, чтобы он был сообщником полковника Мясоедова, повешенного в марте 1915 г., по всей вероятности, он только закрывал глаза на преступления этого изменника, который был его посредником по части получения взяток. Но я готов верить, что, из ненависти к великому князю Николаю Николаевичу и из политических соображений, он тайно противодействовал планам верховного командования. Его сознательным бездействием и скрыванием истинного положения был вызван кризис в снабжении снарядами, эта главная причина первоначальных неудач.

Вивiani, г-жа Вивiani и Альбер Тома прибыли сегодня около 12 часов ночи на Финляндский вокзал. Путь их из Парижа лежал через Христианию и Торнео.

Протекшие 22 месяца наложили свой отпечаток на Вивiani; он стал более вдумчивым, более сдержанным. На спокойном и чистом лице г-жи Вивiani отражается неутешное горе,—сын ее от первого брака убит в самом начале войны. Альбер Тома, которого я раньше не встречал, дышет физической и духовной бодростью; он исполнен энергии, подъема; он ясно понимает положение.

Я сопровождаю своих друзей в Европейскую гостиницу, где их будут довольствовать за счет дворцового ведомства. Их там ждет ужин.

Пока они подкрепляются, Вивиани излагает мне цель их миссии:

— Мы приехали вот для чего: 1) выяснить военные ресурсы России и постараться дать им большее развитие; 2) настаивать на посылке 400.000 человек во Францию, партиями по 40.000 человек; 3) повлиять на Сазонова в том смысле, чтобы русский генеральный штаб больше шел бы навстречу Румынии; 4) постараться получить какие-либо обещания относительно Польши.

Я им отвечаю:— „Что касается первого пункта, то вы сами увидите, что можно сделать; думаю, однако, что вы не будете недовольны работой, проделанной за последние месяцы Земским Союзом и Военно-Промышленным Комитетом. Но Алексеев не согласен на отправку 400.000 человек; он находит, что по отношению к громадной длине русского фронта число хорошо обученных резервов слишком мало; он в этом убедил императора; но если вы будете настаивать, то добьетесь, может быть, посылки нескольких бригад. Что же касается Румынии, то Сазонов, и генерал Алексеев с вами вполне согласны; но затруднение не здесь, а в Букаресте. О Польше советую говорить только перед самым отъездом,—тогда вы увидите, можно ли поднимать этот вопрос, в чем я сильно сомневаюсь“.

Суббота, 6 мая.

После завтрака в посольстве, Вивиани, Альбер Тома и я отправляемся в Царское Село.

Вивиани всю дорогу задумчив и озабочен; его, видимо, тревожит мысль, как Николай II примет те за-

явления, которые ему поручено сделать. Альбер Тома, напротив, весел, полон оживления, в ударе; его очень забавляет перспектива предстать перед императором. Он обращается к себе самому: „Дружище Тома, ты очутишься лицом к лицу с его величеством, царем и самодержцем всея Руси. Когда ты будешь во дворце, свое собственное присутствие там будет для тебя всего удивительнее“.

У вокзала в Царском Селе нас ожидают два придворных экипажа. Я сажусь вместе с Альбером Тома; в другой садятся Вивiani и главный церемонимейстер Теплов.

После некоторого молчания, Альбер Тома начинает:

— Мне хотелось бы кое-с-кем повидаться, пока я в Петрограде, совершенно интимно. Мне будет неловко перед своей партией, если я вернусь во Францию, не повидавшись с ними. Прежде всего с Бурцевым...

— Ого!

— Но он держал себя очень хорошо во время войны; он выступал с патриотическими речами пред французскими и русскими товарищами.

— Я это знаю. Это и было главным основанием, которое я использовал для его возвращения из Сибири, по поручению нашего правительства, поручению, между прочим, очень щекотливому. Но я тоже знаю, что у него *idée fixe* убить императора... Вспомните, перед кем вы сейчас предстанете. Посмотрите на эту роскошную красную ливрею на козлах. И вы поймете, что ваша мысль увидаться с Бурцевым не очень-то мне по душе.

— Так вам это кажется невозможным?

— Подождите конца вашего пребывания здесь; тогда мы еще раз поговорим об этом.

Перед Александровским дворцом большое скопление экипажей. Вся императорская фамилия была сегодня в сборе по случаю именин императрицы и теперь возвращается в Петроград.

Нас торжественно ведут в большую угловую залу, выходящую в парк. Видны ярко освещенные лужайки; ясное небо; деревья, освободившиеся, наконец, от снежного покрова, как будто потягиваются на солнце. Несколькими днями тому назад по Неве еще шел лед, а сегодня почти совсем весна.

Входит император; лицо его свежее, глаза улыбаются.

После представления и обмена обычными любезностями, наступает долгое молчание.

Победив смущение, которое всегда овладевает им при первом знакомстве, император указывает на свой китель, украшенный только двумя крестами, георгиевским и французским военным.

— Как видите, я всегда ношу ваш военный крест, хотя я его не заслужил.

— Не заслужили? Как можно!—воскликает Вивиани.

— Конечно, нет, ведь такая награда дается героям Вердена.

Снова молчание. Я заговариваю:

— Государь, Вивиани приехал для переговоров с вами о чрезвычайно важных вопросах, о вопросах, решить которые не могут ни ваш генеральный штаб, ни ваши министры. И потому мы обращаемся непосредственно к вашему высокому авторитету...

Вивиани излагает то, что ему поручено; он говорит с той увлекательностью, с тем жаром и с той мягкостью, которые ему дают такую силу убеждать других. Он рисует

картину Франции, истекающей кровью, безвозвратно утратившей цвет своего населения. Его слова трогают императора. Он удачно приводит яркие примеры героизма, ежедневно проявляемые под Верденом. Император прерывает его:

— А немцы уверяли до войны, что французы неспособны быть солдатами.

На это Вивиани отвечает очень метко:

— Это действительно, государь, правда: француз не солдат—он воин.

Затем начинает говорить Альбер Тома, на ту же тему, приводя новые доказательства.

Его классическое воспитание и педагогический навык, желание произвести благоприятное впечатление, сознание громадного значения разговора и исторической важности аудиенции—все это придает его речи и всему его существу свойство как бы излучения.

Император, которого его министры не балуют таким красноречием, видимо тронут; он обещает сделать все возможное для развития военных ресурсов России и принять еще более близкое участие в операциях союзников. Я записываю его слова. Аудиенция окончена.

В четыре часа мы возвращаемся в Петроград.

Понедельник, 8 мая.

Сегодня завтрак у г-жи Сазоновой с Вивиани, его супругой и Альбером Тома. Другие приглашенные—председатель совета министров с супругой, министр финансов с супругой, военный министр, морской министр и т. д.

Завтрак прошел гладко. Вивиани прекрасный собеседник; печальное лицо г-жи Вивиани вызывает все-

общее сочувствие; Альбер Тома нравится всем живостью своего ума и остроумием.

После завтрака разбиваемся на группы; говорим о делах.

Я вижу, что Альбер Тома беседует со Штюрмером. Я приближаюсь к ним и слышу:

— Заводы ваши работают недостаточно напряженно,—говорит Альбер Тома;—они могли бы производить в десять раз больше. Нужно было бы милитаризовать рабочих.

— Милитаризовать наших рабочих!—восклицает Штюрмер.—Да в таком случае вся Дума поднялась бы против нас..

Так рассуждали в лето 1916 самый яркий представитель социализма и представитель русского самодержавия!

Вторник, 9 мая.

Вивиани и Альбер Тома завтракают у меня сегодня; они уезжают сегодня днем в ставку; г-жа Виивиани тоже присутствует за завтраком. Я не пригласил больше никого, так как после того, что мы так много говорили с ними о России, мне хочется поговорить немного и о Франции, где я не был уже два года.

Все, что они мне рассказывают о проявлениях французского духа на фронте, прекрасно и укрепляет мою уверенность. Но сколько мелочного, сколько недостойного в мире политики! В Бурбонском дворце порой как будто забывают, что мы воюем. Таким образом, наградой за мое жестокое изгнание является возможность видеть Францию только как бы в историческом освещении, видеть ее в ореоле славы и величия.

Среда, 10 мая.

Новый американский посол, Ромуальд Фрэнсис, заменивший симпатичного Мери, был у меня с первым визитом.

Покончив с обменом обычных любезностей, я стараюсь навести моего собеседника на разговор о войне. Но напрасно. Фрэнсис уклоняется и отделяется бессодержательными фразами. Закключаю, что американское общественное мнение не прониклось важностью тех нравственных принципов, из-за которых ведется война.

Четверг, 11 мая.

Вивиани вернулся из ставки, а Альбер Тома поехал в провинцию осматривать заводы.

Вивиани не совсем доволен своей поездкой. Начальник главного штаба встретил его холодно, или во всяком случае сдержанно, чему я несколько не удивляюсь. Генерал Алексеев яркий реакционер, убежденный сторонник традиций монархического начала, самодержавия и православия. Вмешательство в военные дела не военного человека, да еще какого—социалиста! Это, конечно, показалось ему величайшим нарушением порядка.

Вивиани, прежде всего, вручил ему личное письмо генерала Жоффра, с просьбой немедленно его прочесть. Генерал Алексеев его прочел, но ничего не сказал.

Вивиани продолжал:—Кроме того, генерал Жоффр поручил мне на словах передать вашему превосходительству следующее: он надеется между первым и пятнадцатым июля начать на фронте операцию очень широких размеров; он был бы рад, если бы и вы могли начать наступление не позже 10-го июля, так чтобы

не более месяца прошло между обоими наступлениями, тогда немцы не смогут перебросить подкреплений с одного фронта на другой.

Генерал Алексеев ответил кратко:

— Я вам очень благодарен; я буду обсуждать этот вопрос с генералом Жоффром через генерала Жилинского ¹⁾.

Состоялось затем совещание под председательством императора. Вивiani очень красноречиво отстаивал посылку 400.000 русских во Францию, по 40.000 человек в месяц. Генерал Алексеев понемногу сдался, но прения были продолжительны и тягучи. В конце концов император высказал свою волю. Пришли к следующему решению: сверх бригады, уже отправленной 15 июля в Салоники, послать еще 5 бригад по 10.000 человек в каждой во Францию между 14 августа и 15 декабря.

Я поздравляю Вивiani с достигнутым результатом. Но еще далеко до 400.000 человек, на которых мы рассчитывали.

Пятница, 12 мая.

Только что приехал генерал Жанэн, который сменил генерала Лагиша на посту нашей военной миссии в России.

Он сегодня завтракал у меня. Простой и веселый, с живым умом, гибким и многосторонним, он придется русским по душе.

¹⁾ Представитель русского высшего командования при французской главной квартире.

Суббота, 13 мая.

Я получил от варшавской знакомой, уехавшей в Киев, письмо, полное критики, недоверия, упреков, проклятий по адресу поляков, работающих над восстановлением Польши. Ее горячий и бурный патриотизм никого не щадит. Увы! поймут ли когда-нибудь поляки необходимость дисциплины в общей работе?

Вся история Польши до разделов может служить темой для работы „о последствиях индивидуализма в политике“.

Понедельник, 15 мая.

Сегодня днем у меня в посольстве прием французской колонии в Петрограде, с целью познакомить ее членов с Вивиани и Альбером Тома.

Парадные ливреи, открытый буфет, речи, оркестр, много народу, затягивающийся прием... Все это раньше было для меня тяжелой обузой. Теперь же, при полной отрезанности от родины, мне бесконечно приятно быть среди французов.

Вторник, 16 мая.

Вивиани и Альбер Тома приглашены на завтрак к княгине Марии Павловне; г-же Вивиани нездоровится; она не может присутствовать. Великая княгиня попросила меня сесть за стол против нее, чтобы дать ей возможность посадить Вивиани справа от себя, а Альбера Тома слева. Остальные приглашенные—княгиня Орлова, князь Сергей Белосельский, графиня Шувалова, Дмитрий Бенкендорф и свита. Завтрак прошел очень оживленно. С обеих сторон большая предупредительность.

Великая княгиня сияет от удовольствия. Несмотря на свое немецкое происхождение—или именно по этой

причине—она при всяком удобном случае старается подчеркнуть свою симпатию к Франции. Достаточно было бы и этой причины для объяснения сегодняшнего приглашения. Но это еще не все. Великая княгиня уже давно тайне лелеет мечту видеть на престоле одного из своих сыновей, Бориса или Андрея. И потому она всегда стремится выступать в видных ролях, что упускает делать императрица. С этой точки зрения для нее очень важно, чтобы все знали, что единственно она одна из всей императорской фамилии принимала у себя уполномоченных французского правительства.

Сегодня вечером Государственная Дума и город дают банкет в честь Вивiani и Альбера Тома.

Председатель Думы Родзянко взял на себя устройство этого демонстративного торжества. Этого было достаточно, чтобы министры насторожились, тем более, что банкет был встречен общим сочувствием и превратился в политическое событие. Будет не меньше 400 участников. Все партии, даже крайние правые, а особенно левые, будут представлены. Ни один из министров не считает возможным уклониться от участия на банкете. Присутствуют и английский, и японский, и итальянский послы. Нелегко было решить вопрос о речах. Сначала министры решили, что им не следует выступать в собрании, носящем частный характер. Мне пришлось дать понять Сазонову, что если ни один из представителей правительства не согласится говорить, то я посоветую Вивiani не присутствовать на банкете. В конце концов все уладилось. Решено было, что Сазонов произнесет тост от имени правительства.

Встречают нас в зале банкета очень горячо. Родзянко занимает место во главе почетного стола, я справа от него, Вивiani слева; около меня справа председатель

совета министров Штюмер, от него справа—Альбер Тома.

Банкет затянется; меню очень большое, а подают очень медленно, а кроме того еще будут речи. Таким образом, я проведу часа два в обществе председателя Думы и председателя совета министров.

От Родзянко я много нового не услышу. Его высокий и могучий рост, прямой взгляд, глубокий и задумчивый голос, его шумливая энергия, даже его неловкие слова и поступки—все это указывает на его искренность, прямоту, смелость. У нас с ним хорошие отношения. Он неумолимо защищает правое дело.

К Штюмеру же мне еще нужно присмотреться. Я не знаю, почит ли он со временем в „благоухании святости“, как говорят мистики, но знаю, что сейчас от него исходит аромат фальши. Он прикрывает личной добродушия и приторной вежливостью низость, интриганство и вероломство. Взгляд его, колкий и в то же время умильный, искательный и бегающий, отражает честолубивое и лукавое лицемерие. Но он не без лоска; у него есть интерес к истории, особенно истории анекдотической и красочной. Каждый раз, как я с ним встречаюсь, я расспрашиваю его о русском прошлом и мне всегда интересно его слушать. Ближе изучать его необходимо уже в виду высокого поста, им, правда, по воле случайности, занимаемого.

За банкетом мы говорим с ним об Александре I и его таинственной кончине, о Николае I и его нравственной агонии во время Крымской кампании. Я по этому поводу подчеркиваю, что в интересах России и Франции всегда было идти рука об руку; я напоминаю ему, что еще в 1856 г. мой блестящий предшественник, герцог Морни, задумал союз с Россией, и, если бы его

послушались, теперь все было бы по другому. Штюрмер отвечает:

— Герцог Морни! Как он был бы мне по душе. Я перечел, кажется, все, что о нем написано. Мне кажется, у него были основные качества государственного человека: любовь к родине, энергия и смелость.

Я прерываю его:

— У него были два качества, еще более ценные: чутье реального и умение выполнять задуманное.

— Действительно, оба эти качества необходимы. Но в управлении нужно прежде всего не бояться брать на себя ответственность и улавливать связь событий. Кстати, вон там сидит наш милейший князь Александр Николаевич Оболенский, градоначальник. Он верный слуга его величества, я его очень люблю. Но одного поступка я не могу простить ему. Он был рязанским губернатором в 1910 г., когда Толстой так странно умер на станции Астапово. Вы помните, как вся его семья следила за тем, чтобы не допустить к нему священника. Будь я на месте Оболенского, я не колебался бы ни минуты: я удалил бы силой семью и насильно ввел бы к нему священника. Оболенский возражает, что он не получил распоряжений, и что семья Толстого имела право так поступать, и т. д. Но разве можно говорить о праве и нужны ли распоряжения, когда дело идет о возвращении души Толстого в лоно святой церкви?

Что подумали бы Вивиани и Альбер Тома, услышав такие слова? Но вот начинаются тосты. Тост Родзянко патриотичен, банален и напыщен, мой тост чисто формальный, тост Сазонова бледен и натянут.

Присутствующие поют русский гимн. Затем Шаляпин, гениальный Шаляпин, поет Марсельезу; его дикция так прекрасна, стиль его так величествен,

сила лиризма и страстности такова, что в зале проносится дуновение революционного энтузиазма, дух Дантона. Я еще раз убеждаюсь приятно, как легко воодушевляется русская публика.

В эту минуту общего подъема Вивиани начинает свою речь. Опытный парламентский оратор, он чувствует, что аудитория просит горячего слова. Его пламенная дикция, его широта, смелые жесты, его взор, то восторженный, то нежный, мощный ритм его речи вызывают восторг. Когда он восклицает: „Не бывать сепаратного мира. Будем воевать вместе! Вот договор чести, нас связующий! Так мы будем идти до конца, до того дня, когда поправное право будет отомщено... мы обязаны этим перед своими умершими, — иначе они все пожертвовали жизнью. Мы обязаны этим перед грядущими поколениями“ и т. д. — ему не дают кончить, зал дрожит от рукоплесканий. Шаляпин, с вдохновенным лицом, с глазами, полными слез, поспешно подходит к почетному столу. Просят его снова спеть Марсельезу; он поднимается на эстраду, и снова великий гимн потрясает сердца.

Министры переглядываются с беспокойством, как бы спрашивая друг у друга: „Что это такое? Что же еще будет?“

Поднимается лидер думской кадетской партии в Думе, Василий Алексеевич Маклаков.

Он говорит на прекрасном французском языке. Слова его и жесты резки. Прежде всего он напоминает, что он всегда был сторонником мира, и прибавляет, что остался и сейчас закоренелым пацифистом, но это не мешает ему быть страстным сторонником этой войны: „ведь эта война будет самоубийством войны; ведь, в день заключения мира мы так перекроим карту

Европы, что войны уже будут не нужны". Он кончает речь своим обращением к Франции, к той Франции, к голосу которой должен прислушиваться весь мир, той Франции, которая в XVIII веке провозгласила бессмертные принципы, символы идей пацифизма, к Франции, которая создаст в будущем вечный мир, который и сейчас называют французским миром.

Энтузиазм присутствующих достигает высшей степени. Лица министров еще более вытягиваются. Смотря на них, я понимаю, что приезд всякого французского политического деятеля в их глазах связан с пропагандой демократических идей.

Во время речи Маклакова Альбер Тома с трудом себя сдерживает. Его глаза горят. Я жду, что вот-вот он встанет и разразится ораторской импровизацией. Но Родзянко уже произносит прощальные слова. Мы выходим при громе рукоплесканий.

Вивiani, Альбер Тома и я задерживаемся на несколько минут в вестибюле и обмениваемся впечатлениями о банкете. По поводу речи Маклакова я говорю:

— Прекрасная речь; она произведет в России большое впечатление. Но как наивно предполагать, что предстоящий мир будет вечным; я представляю себе, наоборот, что теперь-то и начнется эра насилий, и что мы сеем семена новых войн.

Подумав немного, Альбер Тома отвечает:

— Да, за этой войной еще лет десять войн... лет десять войн...

Среда, 17 мая.

Вивiani и Альбер Тома были сегодня с прощальным визитом у Сазонова.

Я с ними не поехал, чтобы не придавать официальности их беседе; они хотели говорить главным образом о Румынии и Польше.

Относительно Румынии Сазонов заявил, что очень желает ее присоединения к Антанте.

— Но я не могу, — прибавил он, — считать ее серьезным союзником, пока Братиано не согласится заключить с нами военную конвенцию.

Что касается Польши, то Сазонов очень упорно указывал на опасность для союзников вмешательства, даже самого незаметного, французского правительства в польский вопрос.

Таким образом, результат миссии Вивиани сводится к посылке 50.000 человек во Францию или, скорее, к обещанию это сделать.

Но влияние Альбера Тома принесло реальную пользу. Его удивительная работоспособность, его практичность действовали подбодряющим образом на промышленные силы, работающие на оборону. Но надолго ли хватит этого? Ему очень удачно помогал один из наших сотрудников, Лупер, крупный подрядчик правительственных работ, человек, очень много сделавший для подъема промышленности во Франции.

В 1 час дня Вивиани и Альбер Тома завтракают у меня в последний раз с великим князем Николаем Михайловичем и с японским, английским и итальянским послами.

Николай Михайлович, „Николай Эгалитэ“, интересующийся передовыми идеями и новыми людьми, говорил мне: „Я очень хочу познакомиться с Альбером Тома“.

Кажется, это знакомство ему очень по душе, по крайней мере он к нему в высокой степени внимателен.

В семь часов вечера миссия в полном составе уезжает во Францию через Архангельск.

Четверг, 18 мая.

Сегодня вечером в Народном Доме идет „Дон-Кихот“. Слушая Шатяпина, я испытываю то же наслаждение, как два месяца тому назад. Сам Сервантес был бы, я думаю, восхищен такой передачей своего образа—передачей, выявляющей в Дон-Кихоте черты и индивидуализма, и широты, и комичности, и трогательности, и каррикатурности, и общечеловечности. Никогда дух великого не был лучше воспринят.

И публика столь же интересна, как и в прошлый раз; те же улыбки снисхождения и симпатии к рыцарю искателю приключений, к этому герою, в котором кротость, великодушие, покорность судьбе, терпение и мудрость уживаются с безумием, сумасбродством, верой во все невозможное, податливостью на всякое очарование, беспомощному перед действительностью.

Пятница, 19 мая.

Генерал Алексеев с неослабной настоятельностью торопит подготовку крупного наступления, которое он думает начать в первых числах июня. Центром боевых действий будет Галиция, по Стрыпе и по Пруту, между Тарнополем и Черновицами; во главе операции будет стоять генерал Брусиллов. Меня уверяют, что войска, благодаря наступившему теплу, настроены прекрасно.

Сегодня у меня обедают испанский посол, граф Картахена, княгиня Орлова, княгиня Белосельская, княгиня Кантакузен, граф Сигизмунд Велепольский, граф Кутузов, леди Мюриэль Пэджег, леди Сибилла Грэ и др.

Княгиня Белосельская и княгиня Кантакузен недавно получили письма от своих мужей с армянского и с буковинского фронтов; обе дамы тоже подтверждают, на основании этих писем, что настроение у солдат боевое. То же самое говорят лэди Мюриель и лэди Сибилла, которые только об'езжали свои лазареты на Волыни.

Воскресенье, 21 мая.

Правитель канцелярии Штюмера, достойный исполнитель его низких замыслов, несравненный Мануйлов, был сегодня у меня, чтобы сообщить о пустяшном моем деле с полицией. Покончив с делом, мы с ним разговариваем. С большой искренностью,—не всегда же он лжет,—в самых мрачных красках изображает он внутреннее положение; он особенно обращает мое внимание на распространение революционного духа в армии.

Я возражаю ему, приводя те благоприятные отзывы о духе войск, которые мне передавали третьего дня.

— Все это верно, но верно только относительно частей на фронте. В тылу же полное разложение. Во-первых, тыловые части ровно ничего не делают или во всяком случае недостаточно заняты. Вы знаете, что зима самое неудобное время для военного обучения. Но в этом году это обучение проходило в особенно сокращенном и упрощенном виде, за недостатком ружей, пулеметов, орудий, а главное—из-за недостатка в офицерах. Кроме того, солдаты очень скверно помещены в казармах. Их набивают, как сельдей в бочку. В Преображенских казармах, рассчитанных на 1.200 человек, помещаются 4.000 человек. Представьте себе их жизнь в душных и темных помещениях! Они проводят целые ночи в разговорах. Не забывайте, что среди них есть представи-

тели всех народностей империи, всех религий и сект, есть даже евреи. Это прекрасный бульон для культуры революционных бактерий. И наши анархисты, конечно прекрасно это понимают.

— А что думает по этому поводу Штюрмер?

— Штюрмер просит только не мешать ему и будьте уверены, ваше превосходительство, что он сумел бы управиться.

Понедельник, 22 мая.

Приезд Вивиани и Альбера Тома оставили глубокий след во всех слоях общества.

Будучи здесь, Жозеф де-Меестр, тонкий наблюдатель французской революции, заметил, как я теперь вижу, совершенно правильно: „Во французском характере, в самом французском языке есть какая-то необычайная сила прозелитизма. Вся нация — одна сплошная и широкая пропаганда“.

Вторник, 23 мая.

В Трентино, между Эчем и Брентой, сильное наступление австрийцев заставило итальянцев оставить свои позиции. В Италии большое волнение; уже говорят о необходимости отхода фриульской армии, чтобы не быть отрезанной от Ломбардии занятием неприятелем Вичелицы и Падуи.

У Вердена вновь ожесточенные бои. После блестящего приступа французы захватили форт Дуамон.

Среда, 24 мая.

В 1839 г. Николай I говорил маркизу Кюстину: „Республику я понимаю, это строй определенный и недвусмысленный или, во всяком случае, могущий быть

таковым. Я, конечно, понимаю абсолютную монархию, раз я сам стою во главе такого строя. Но представительной монархии я понять не могу; это строй, основанный на лжи, на обмане, на испорченности. Я готов был бы скорее отступить до границ Китая, чем согласиться на его установление“.

Пятница, 26 мая.

Подвожу итог моего дня:

Сегодня утром П... сообщил мне тревожные сведения о революционной пропаганде на фабриках и в казармах.

Днем княгиня Н., не принадлежащая к партии императрицы, но близкая к Вырубовой, рассказывала мне, что Распутин на днях убеждал государыню, „что нужно беспрекословно слушаться божьего человека“. Он ей затем сообщил, что после своего причащения на Пасхе он чувствует в себе новые силы против своих врагов и считает себя более чем когда-либо защитником, ниспосланным провидением императорской фамилии в святой Руси. Александра Федоровна со слезами восторга бросилась на колени перед ним и просила его благословения.

Вечером в клубе я слышал такие слова: „Если Дума не будет разогнана, мы пропали“... и затем длинное рассуждение о необходимости вернуть царскую власть к чистым основам московского православия.

В заключение я вспоминаю предсказание г-жи Тенсен, сделанное в 1740 г. о французской монархии: „Если только не будет личного вмешательства божества, физически невозможно, чтобы правительство не сломало себе шею“.

Но я думаю, что пройдет не сорок лет, а едва ли даже сорок месяцев до падения русского режима.

Суббота, 27 мая.

Король Виктор Эмануил телеграфировал императору прося его ускорить общее наступление русской армии для облегчения итальянского фронта.

Посол Карлотти изво всех сил хлопочет о том же.

Понедельник, 29 мая.

Вера в царя, в его справедливость, в его доброту все еще живет в сердцах крестьян. И этим объясняется всегдашний успех Николая II, когда он непосредственно обращается к крестьянам, солдатам или к рабочим.

В то же время народ убежден больше, чем когда-либо, в том, что бюрократия и чиновники извращают или не выполняют благую волю царя. Никогда так часто не повторялись русские поговорки:

„Жалует царь, да не милует псарь“. „Царь-то сказал: да, но его собачка тавкнула: нет“.

Вторник, 30 мая.

Графиня Н., приятельница Вырубовой, таинственно пригласила меня сегодня к себе на чашку чая. Взяв с меня обещание молчать, она сказала мне следующее:

— Сазонов будет, повидимому, вскоре удален; я решила вас предупредить об этом. Их величества к нему очень плохо относятся. Штюрмер исподтишка ведет против него очень деятельную кампанию.

— Но что же он ему ставит в вину?

— Он его обвиняет в либерализме, в уступчивости по отношению к Думе. Он еще ставит ему в вину, — вы ведь обещали мне никому не передавать моих

слов,—то, что он слишком поддается вашему влиянию и влиянию Бьюкенена... Вы знаете, что императрица, к несчастью, ненавидит Сазонова; она его ненавидит за его отношение к Распутину, которого он называет антихристом, а Распутин, со своей стороны, уверяет, что Сазонов отмечен печатью дьявола.

— Но ведь Сазонов человек очень религиозный. А что говорит император?

— В настоящее время он совершенно подчиняется императрице.

— Вы слышали об этом от Вырубовой?

— Да, от Ани... Но, ради Бога, не говорите никому об этом!...

Среда, 31 мая.

С тех пор, как Штюмер стоит у власти, влияние Распутина очень возросло. Этот мужик-чудотворец все более становится политическим авантюристом и пройдохой. Кучка еврейских финансистов и грязных спекулянтов, Рубинштейн, Манус и др., заключили с ним союз и щедро его вознаграждают за содействие им. По их указаниям, он посылает записки министрам, в банки и разным влиятельным лицам. Я видел такие записки—это грязные каракули, грубо повелительные по стилю. Никто ни в чем не смеет ему отказать. Назначения, повышения, отсрочки, милости, подачки, субсидии—так и сыплются по его приказанию.

Если дело особенно важно, то он передает записку непосредственно царице и прибавляет:

„Вот. Сделай это для меня“.

И она сейчас же отдает распоряжение, не подозревая, что работает на Рубинштейна и Мануса, которые в свою очередь стараются для Германии.

Четверг, 1 июня.

Я был поражен сегодня утром видом Сазонова: он бледен, глаза ушли в орбиты, вид подавленный. Он жалуется на сильное нервное переутомление, лишаящее его сна и аппетита; он собирается поехать отдохнуть на несколько недель в Финляндию. С начала войны он часто страдает мигренями и бессонницей. Это наша общая судьба. Даром нам не проходят заботы и работа такая тяжелая, напряженная и еще в таком климате. Но на этот раз меня беспокоит не его здоровье; его состояние объясняется скрытыми неприятностями, о которых я узнал вчера.

Пятница, 2 июня.

Греческое правительство держит себя совершенно недопустимо; его соглашение с болгарским правительством вполне очевидно. Личное участие в этом короля Константины не подлежит сомнению.

Долгая беседа по этому поводу с Сазоновым; я получаю от него разрешение телеграфировать в Париж, что он заранее согласен на все меры, какие Англия и Франция сочтут нужным принять по отношению к Греции.

Итальянцы между Эчем и Брентой несколько оправились. Австрийское наступление почти приостановлено.

Воскресенье, 4 июня.

По просьбе Виктора Эмануила император повелел ускорить наступление на Волыни и Галиции. Операция, решительно начатая генералом Брусиловым, развивается пока успешно.

Вторник, 6 июня.

Я говорил о крестьянах с княгиней Ш... председателем общества распространения кустарных изделий

из дерева, кожи, рога, железа и материи, в которых выражаются художественный вкус русских крестьян, и их способность к своеобразной художественной орнаментации.

Поэтому она глубоко сожалеет об изменениях, происходящих за последние пятнадцать лет в духовном и нравственном облике деревни, в связи с развитием крупной промышленности:

— Сахарные и винокуренные заводы, бумагопрядильни, фабрики, бесчисленные мастерские, вырастающие теперь, как из-под земли, оказывают свое влияние на крестьян и распространяют среди них привычки, потребности и взгляды, к которым они совершенно не подготовлены своим прошлым. Переход слишком быстрый для их первобытного сознания. Высокая плата привлекает крестьян на фабрику, а это развращает целые округа. Подумайте, ведь, за исключением городов, до последнего времени деньги редко встречались в деревне. Во многих местах существовала меновая торговля: меняли овес на тулуп или на водку; за лошадь или за плуг платили работой ¹⁾. Теперь же все изменилось. Крестьяне по большей части утратили простоту нравов, но в то же время, по своей отсталости, не могут подняться до новых условий. Они совершенно сбиты с пути, запутались... Если бог не отвратит от нас революции по окончании войны, то быть в деревне большой беде.

¹⁾ Автор дневника был введен в заблуждение. В самых глухих углах России давно все покупают и продают за деньги.

Примеч. переводчика.

Четверг, 8 июня.

Наступление генерала Брусилова развивается блестяще. Оно начинает даже походить на победу.

За несколько дней австро-германский фронт отодвинут на протяжении 150 километров. Русские взяли 40.000 пленных, 80 орудий и 150 пулеметов.

На итальянском фронте, к востоку от Третино, бои продолжаются; но австрийское наступление приостановлено.

Пятница, 9 июня.

С московских времен русские не были, быть может, настолько русскими, как теперь.

До войны их врожденная склонность к странствиям периодически толкали их на Запад. Высший круг раз или два раза в году слетался в Париже, Лондоне, Биаррице, Кани, Риме, Венеции, Баден-Бадене, Карлсбаде. Более скромные круги — интеллигенты, адвокаты, профессора, ученые, доктора, артисты, инженеры — ездили учиться, лечиться и для отдыха в Германию, в Швейцарию, в Швецию, в Норвегию. Одним словом, большая часть как высшего общества, так и интеллигенции, по делу или без дела, но постоянно, иногда подолгу, общалась с европейской цивилизацией. Тысячи русских отправлялись за границу и возвращались с новым запасом платья и галстуков, драгоценностей и духов, мебели и автомобилей, книг и произведений искусства. В то же время они, сами до того не замечая, привозили с собой новые идеи, некоторую практичность, более трезвое и более рациональное отношение к жизни. Давалось это им очень легко, благодаря способности к заимствованию, которая очень присуща славянам

и которую великий „западник“ Герцен называл „нравственною восприимчивостью“.

Но за последние двадцать два месяца войны между Россией и Европой выросла непреодолимая преграда, какая-то китайская стена. Вот уже два года, как русские заперты в своей стране, как им приходится вариться в собственном соку. Они лишены подбодряющего и успокаивающего средства, за которым они отправлялись раньше на Запад и это в такую пору, когда оно им всего нужнее. Известно, что для страдающих нервами, склонных к подавленности, необходимы развлечения; особенно полезны и поддерживают путешествия, которые дают толчек их деятельности, их вниманию.

Поэтому я несколько ни удивляюсь, видя вокруг себя многих людей, раньше казавшихся мне совершенно здоровыми, а теперь страдающими утомлением, меланхолией и нервностью, несвязностью мыслей, болезненной легковёрностью, суеверным и раз'едающим пессимизмом.

Суббота, 10 июня.

Интрига против Сазонова, кажется, не удалась. Повидимому, он чувствует свое положение вновь упрощившимся. Во всяком случае вид у него лучше и он меньше жалуется на усталость. Но все-таки он дает понять, что очень нуждается в отдыхе.

Воскресенье, 11 июня.

Финансист Г..., который сильно заинтересован в промышленных предприятиях в Варшавском и Лодзинском округах, очень верно заметил мне:

— При заключении мира, разрешение польского вопроса готовит большие неожиданности. Привыкли

смотреть на этот вопрос с национальной точки зрения и освещении горестного прошлого и героически-романтических легенд. Но когда наступит решительный момент, появятся еще два очень важных факта — это социалистический и еврейский элементы.. За последние 30 лет социал-демократия в Польше страшно усилилась; рост ее можно измерить все увеличивающимся числом рабочих. В Лодзи в 1859 г. было 25.000 жителей, а в 1880 г. уже 100.000 тысяч, теперь же их насчитывается 460.000 человек. А такие фабричные центры, как Сосновицы, Томашев, Домброва, Люблин, Кельцы, Радом, Згерж, тоже растут с невероятной быстротой. Пролетариат там хорошо организован и везде обнаруживает могучую жизнеспособность. Его несколько не интересуют исторические мечтания великих польских патриотов. В восстановлении Польши пролетариат видит только возможность осуществить свою экономическую и социальную программу. Будьте уверены, что пролетариат заговорит громким и решительным голосом... Евреи также примут участие. Они разделяют идеи польской социал-демократии, но, кроме того, у них есть своя собственная организация, чисто еврейская. Евреи очень интеллигентны, очень смелы, очень фанатичны. Польские гетто — это очаги анархизма...

Четверг, 15 июня.

Русские продвигаются в Тарнополю и Черновицам; они перешли Стрыпу и Днестр. Общее число взятых или плененных доходит до 153.000.

Пятница, 16 июня.

У меня обедало несколько близких друзей. Стол накрыт в парадной зале, широкие окна которой выходят на

Неву. Обед назначен на 9¹/₂ часов вечера: таким образом, мы сможем любоваться необычайной картиной северного неба во время летнего солнцестояния.

Мы садимся обедать, когда еще совсем светло. Но от Охты до крепости весь берег освещен фантастическим светом. На первом плане река, отливающая темно-зелеными металлическими тонами, испещренная порой красными отблесками, похожими на кровь. Дальше, крыши казарм, купола церквей, фабричные трубы выделяются на грозном темно-красном фоне, переливающимся лиловатым, желтоватым цветом. Краски все время меняются каждую минуту. Как будто от руки какого-то алхимика, от руки библейского кузнеца титана Тувал-Каина краски разгораются, сияют, слабеют, сливаются, переливаются, исчезают; одно за другим проходят самые разнообразные сочетания. То эта картина напоминает какой-то катаклизм в природе, то извержение вулкана, то разрушающиеся стены, то блеск громадной печи, то свечение метеора, то сияние апофеоза.

К 11 часам небо бледнеет, фантазмагория угасает. Небо затягивается прозрачной пеленой, серебристой и жемчужной дымкой. Кое-где чуть заметно мерцают звезды. В тишине и полумраке город спокойно засыпает.

В половине первого, когда мои гости расходятся, розовый просвет со стороны востока уже предвещает близкую зарю...

Воскресение, 18 июня.

В Буковине русская армия перешла Прут и заняла Черновицы; передовые части достигли молдавского Серета у Старочинца.

Понедельник, 19 июня.

Начальник генерального штаба генерал Беляев, один из наиболее образованных и добросовестных

офицеров русской армии, отправляется во Францию для выяснения некоторых вопросов, касающихся законов по снабжению армии. Он сегодня завтракал у меня.

Прежде всего, я поздравляю его с победами, которые генерал Брусилов продолжает одерживать в Галиции—вчера он занял Черновицы.

Он принимает мои поздравления очень сдержанно; что вполне согласно с его скромностью и осторожностью.

Мы возвращаемся в большую гостиную, закури-ваем сигары: я его спрашиваю:

— Что вы скажете о войне и с какими впечатлениями вы уезжаете?

Взвешивая каждое слово, он отвечает мне:

— Император более чем когда-либо твердо намерен продолжать войну до победного конца, пока Германия не будет принуждена принять наши условия, все наши условия. Поскольку его величество соизволил высказаться во время последнего моего доклада, у меня нет в этом никаких сомнений. Наше положение за последние дни значительно улучшилось в Галиции, но мы еще не начинали действовать на германском фронте. В лучшем случае, нам предстоит тяжелая и продолжительная борьба. Я говорю, конечно, только с точки зрения стратегической: я не говорю об условиях финансовых, дипломатических и других. Я еду в Париж договариваться о том, чтобы наша армия, предпринимающая теперь громадные усилия, богатая людьми, не терпела бы отсутствия снарядов. Самый важный и нетерпящий отлагательств вопрос—это вопрос тяжелой артиллерии. Генерал Алексеев каждый день требует тяжелых орудий, а у меня больше нет для него ни одной пушки, ни одного снаряда.

— Но 70 тяжелых орудий выгружены же в Архангельске?

— Это верно, но не хватает вагонов. Вы знаете, как мы бедны в этом отношении. Все наше наступление, столь блестяще начатое, может благодаря этому быть погублено.

— Это очень серьезно. Но почему в вашем железнодорожном управлении так мало порядка и активности? Уже несколько месяцев, как Бьюкенен и я твердим об этом Сазонову; мы шлем ему ноту за нотой. Но мы не могли пока достигнуть чего-нибудь. Наши военные и морские атташе тоже хлопочут из всех сил. Но тоже безуспешно. Подумайте, как ужасно, что Франция жертвует частью своего промышленного производства для снабжения вашей армии, а из-за беспорядка и инертности ваши войска не пользуются этим снаряжением! С тех пор, как в Архангельске открылась навигация, туда привезено французскими судами 70 тяжелых орудий, 1½ миллиона снарядов, 6 миллионов гранат, пятьдесят тысяч ружей. И все это свалено на пристанях. Необходимо усилить движение на ваших железных дорогах. Триста вагонов в день, ведь это смешно. Меня уверяют, что, при небольшом напряжении и упорядочении дела, можно было бы легко удвоить их число.

— Я веду ожесточенную борьбу с железнорожным ведомством, но меня слушаются немного больше, чем вас... Это, впрочем, так важно, что нельзя с этим примириться. Поэтому я вас очень прошу еще раз поговорить с Сазоновым, попросить его представить ходатайство от вашего имени в совет министров.

— Будьте во мне уверены, я с завтрашнего дня начну борьбу...

Суббота, 24 июня.

На последние дни я замечаю в политических кругах Петрограда странное настроение против аннексии Русской Константинополя.

Утверждают, что эта аннексия не только не разрешила бы восточного вопроса, но только осложнила бы его и затянула, так как ни Германия, ни Австрия, ни дунайские государства не согласятся оставить ключ от Черного моря в когтях у русского орла. Русским важно добиться свободного прохода через проливы; а для этого достаточно создания на обоих берегах нейтрального государства, находящегося под покровительством держав. Считают также, что слияние греческого патриархата с русской церковью повлекло бы за собой неразрешимые затруднения и было бы в тягость для русских православных. Наконец, с точки зрения внутренней политики и социального развития, считают, что Россия совершила бы большую несторожность, допустив внедрение в свой организм турецко-византийского тлетворного начала.

Я считаю все эти соображения совершенно правильными. Но о чем же думали раньше?

Воскресенье, 25 июня.

Нужно побывать в России, чтобы понять изречение Токвиля: „Демократия лишает деспотизм материального содержания“ (*La démocratie immatérilise le despotisme*).

По своей сущности, демократия не обязательно должна быть либеральной. Не нарушая своих принципов, она может сочетать в себе все виды гнета политического, религиозного, социального. Но, при демо-

кратическом строе, деспотизм становится неуволнимым, так как он распыляется по различным учреждениям; он не воплощается ни в каком одном лице, он вездесущ и в то же время его нет нигде; оттого он, как пар, наполняющий пространство, невидим, но удушлив; он как бы сливается с национальным климатом. Он нас раздражает, от него страдают, на него жалуются, но не на кого обрушиться. Люди обыкновенно привыкают к этому злу и подчиняются. Нельзя же сильно ненавидеть то, чего не видишь.

При самодержавии же, наоборот, деспотизм проявляется в самом, так сказать, сгущенном массивном, самом конкретном виде. Деспотизм тут воплощается в одном человеке и вызывает величайшую ненависть.

Вторник, 27 июня.

Русские взяли Кимполунг, к юго-западу от Черновиц; эта победа делает их хозяевами Буковины и подводит их к Карпатам.

Мы следим с Сазоновым по карте за ходом наступления; он мне говорит:

— Вот когда должна бы выступить Румыния... Она бы могла свободно пройти до Херманштадта, до Темешвара... до самого Пешта... Но Братиано не способен на простые, прямодушные решения. Вы увидите, он пропустит все возможности.

Среда, 28 июня.

Из верного источника узнаю следующее:

Императрица переживает очень тяжелую полосу. Усиленные молитвы, посты, аскетические подвиги, волнения, бессонница. Она все больше утверждает в восторженной мысли, что ей суждено спасти святую православную Русь и что покровительство Распутина

и высоко его качества ей необходимы для успеха. Она по всякому поводу советуется с ним, просит его благословения.

Но сношения царицы с Гришкой облечены покровом тайны! В газетах о них ни слова. В обществе об этом говорят шепотом, и только самые близкие между собой, как о поворной тайне, в которую лучше не углубляться; но вообще не стесняются выдумывать бесконечное число фантастических подробностей.

Обыкновенно сам Распутин редко бывает во дворце. Он видится с царицей по большей части у Вырубовой, в ее квартире на Средней улице; там он проводит иногда по несколько часов с обеими женщинами, а агенты генерала Спиридовича охраняют дом и никого не подпускают близко к нему.

Обыкновенно же полковники Ломан и Мальцев поддерживают постоянные сношения между старцем и его кликой и дворцом.

Полковник Ломан, помощник управляющего императорскими дворцами, староста любимой церкви царицы, Федоровского собора, личный секретарь Александры Федоровны, пользуется полным ее доверием. Его помощником в его ежедневных сношениях с Распутиным является артиллерийский полковник Мальцев, начальник воздушной охраны Царского Села. Для интимных поручений императрица пользуется обыкновенно услугами молодой монахини, работающей в придворном военном госпитале, сестры Акилины.

Несколько лет тому назад эта монахиня жила в Огтайском монастыре на Урале, недалеко от Екатеринбурга. Крестьянка родом, очень здоровая от природы, она вдруг стала страдать припадками, которые очень усилились и стали периодическими. На глазах

у своих испуганных сестер, она то корчилась в судорогах, то впадала в восторженно-бредовое состояние, то испытывала необычайные ощущения; ее считали одержимой бесами. Во время такого припадка явился Распутин. Он тогда ходил странником по Уралу. Однажды вечером он попросился ночевать в Октайском монастыре. Его приняли, как посланца провидения, и немедленно привели к бесноватой, которая билась в припадке. Он остался с ней наедине и в несколько минут исцелил ее властным заклинанием. Дьявол больше не беспокоил ее. После такого исцеления, Акилина стала верной слугой старца.

Четверг, 29 июня.

Русская армия продвинулась в Галиции на 50 километров к югу от Днестра до Коломеи; она заходит еще дальше к северо-западу, продвигаясь к Станиславову.

За июнь взято в плен 217.000 человек, в том числе 4500 офицеров; кроме того, захвачено 230 орудий и 700 пулеметов.

Генерал Алексеев только что сообщил генералу Жоффру, что сейчас наиболее удобный момент для наступления салоницкой армии на болгар; это наступление принудило бы Румынию, наконец, открыто стать на сторону Антанты. Заключительные выводы обращения генерала Алексева, по моему, очень убедительны: „Вряд ли будут более благоприятные условия в дальнейшем для успеха наступления из Салоник. Русские войска пробили широкую брешь в австро-германской линии, а в Галиции мы вновь перешли к наступательной войне. Германия и Австрия стягивают сюда все свои свежие силы и, таким образом, ослабляют свой

фронт на Балканах. Удар по Болгарии обезопасил бы и Румынию и был бы угрозой Будапешту. Для Румынии выступление является необходимым и выгодным и в то же время неизбежным“.

Высшее английское командование отказывается вести в настоящее время наступление на болгар, считая его слишком опасным. Бриан настаивает в Лондоне на необходимости согласиться с мнением генерала Алексеева.

Суббота, 1 июля.

В Галиции русские заняли Коломыю и преследуют австро-германцев по направлению к Станиславу. В Буковине они закрепляют свои успехи.

С 4 июня армия Брусилова захватила 217.000 пленных.

Во Франции начинается большое англо-французское наступление на Сомме.

Воскресенье, 2 июля.

Мое недавнее вмешательство по поводу Архангельской железной дороги дало некоторые результаты. Савонов мне сказал, что, по особому распоряжению императора, число вагонов будет увеличено в сутки с 300 до 450, а вскоре и до 500.

Братиано все еще уверяет в Париже, что он не может принять окончательного решения по причине противодействия со стороны России и на меня сыплется одна нетерпеливая телеграмма за другой. С целью прекратить двусмысленную игру румынского правительства, генерал Алексеев сообщил ему следующее: „Сейчас наступил момент, наиболее подходящий для выступления Румынии и это единственный момент, когда вмешательство Румынии может быть интересно для России“.

Я говорю об этом с Диаманди, который у меня завтракал.

— Промедления Братиано — говорю я, — роковая ошибка. Я прекрасно понимаю, что он не хочет войны и стремится избежать ее; это вполне понятно, — война всегда рискованная вещь. Но, раз, по вашим словам и согласно его словам, он желает войны, раз он заранее уже предназначил себе долю в добыче, раз он настолько втянулся в политику осуществления национальных требований, то как же он не видит, что стратегически сейчас настало время для выступления Румынии. Русские усиленно наступают; австро-германцы еще не пришли в себя после поражения; итальянцы отправились и яростно дерутся; англичане и французы изо всех сил нажимают на Сомме. Чего же еще нужно Братиано? Разве он не знает, что на войне нужно пользоваться подходящим моментом?

— Лично, я с вами вполне согласен. Но я уверен, что и у Братиано есть веские причины откладывать окончательное решение. Подумайте, ведь он ставит на карту судьбу Румынии.

Понедельник, 3 июля.

Русские представители, ездившие на совещание с французскими, английскими и итальянскими, только что вернулись в Петроград. Сегодня они делали доклад в Государственном Совете и в Государственной Думе. Даже сквозь условные выражения их докладов, в них слышится глубокое восхищение пред военной доблестью союзников, в особенности французов.

Я был сегодня, с Бьюкененом и Карлотти, на заседании в Мариинском Дворце и в Таврическом Дворце. Нас приветствовали очень горячо.

Я беседовал с некоторыми членами Государственного Совета и Государственной Думы, с Гурко, князем Лобанов-Ростовским, с Шебеко, с Велепольским, с Миллюковым, с Шингаревым и др.; они все в различной форме высказывают одну и ту же мысль: „Мы здесь хорошо понимаем, что такое война“.

Вторник, 4 июля.

Я завтракал сегодня у итальянского посла. Там были председатель Государственной Думы Родзянко, член Государственного Совета, князь Сигизмунд Велепольский, и два депутата-кадета, Миллюков и Шингарев.

Я беседовал долго с Миллюковым об его впечатлениях от поездки на Запад:

— Прежде всего,—говорит он,—нужно усилить и согласовать наше наступление. А это возможно только при совместной работе правительства со страной и с Думой. Между тем, в настоящее время преобладает направление, которое отличается...

Он поражен важностью, которую Франция придает выступлению Румынии; он считает румынскую армию очень слабой; чувствуется его старая склонность и снисходительность по отношению к Болгарии.

Мне хотелось поговорить с ним поосновательнее о внутреннем положении, и я пригласил его и Шингарева к себе обедать через 3 дня.

Велепольский отводит меня в сторону и сообщает под секретом:

„Я совершенно уверен в том, что император созывает вскоре своих министров в Могилеве для выяснения польского вопроса. Штюрмер и большинство его коллег против этого. Но мне кажется, что Сазонов может

восторжествовать; он взял это дело в свои руки, и генерал Алексеев его энергично поддерживает“.

Он прибавляет, что вскоре будет иметь возможность окольными путями передать письмо императору и хотел бы прибавить несколько слов от меня.

Я отвечаю:

„Вы можете сказать, что провозглашение польской независимости будет встречено Францией не только, как первый шаг, являющийся следствием этой войны, но и как важный политический акт, который будет иметь большое значение в будущем и поможет продвижению русской армии в Польше“.

Попрежнему, хорошие вести из Галиции и Буковины. Число пленных доходит до 233.000 человек.

Во Франции, наступление на Сомме сопряжено с большими трудностями; но для нас развивается успешно.

Среда, 5 июля.

Сегодня у меня завтракал генерал Поливанов. Несмотря на отставку, он продолжает поддерживать близкие сношения с генералом Алексеевым, который его очень ценит. Таким образом, он хорошо осведомлен относительно стратегического положения русской армии. Он несколько раз повторяет мне, что высказывает только свои личные мнения; он говорит: „Наше наступление в Галиции и Буковине есть только начало большого наступления по всему фронту... Мы должны весь свой удар направить на германский фронт; мы достигнем окончательной победы только тогда, когда разобьем немцев. После Верденских боев, Германия не может предпринять крупного наступления. Но на нашем фронте следует ожидать с ее стороны упорного

сопротивления на Немане, Буге, и затем дальше по течению этих же рек, и по Висле. Я не знаю, каковы намерения генерала Алексеева, но думаю, что его план в том, чтобы продвинуть все наши армии к северо-западу, имея Ригу центром этого движения. Генерал Куропаткин, не очень способный вести наступление, но умеющий вести оборонительную войну, вполне подходит к выполнению порученного ему плана. Генерал же Эверт и генерал Брусилов, эти знатоки маневров, выполнят остальное. Я думаю, что им поставят целью взять Вильно, Брест-Литовск и Люблин“.

— А Краков?

— Навряд ли. Но, во всяком случае, это зависит от Румынии. Будь мы уверены в выступлении румынской армии, мы были бы спокойнее за наш левый фронт и нам бы оставалось только поддерживать связь с нашим новым союзником. Но если Румыния останется нейтральной, нам придется быть гораздо осмотрительнее, и это значительно задержит все наступление. Но каково бы ни было решение румынского правительства, мы должны знать его немедленно. В Бухаресте, как будто даже не знают, что наступление в полном разгаре...

Четверг, 6 июля.

Англичане наступают между Соммой и Анкром, а французы продвинулись за вторую линию неприятельских окопов к югу от Соммы. В обеих зонах германцы оставили в наших руках около 13.000 пленных.

На фронте в 300 километров, между Стоходом и устьями Прута, русские методически наступают. К северу, на Волыни, они угрожают Ковелю. На юге, в Галиции, они заняли Делятин, защищающий один

из главных входов в Карпаты, между Станиславовым и Мармарош-Сигет.

Такое же наступление идет в Армении, где турки одновременно отброшены и на берегу Черного моря, и к западу от Эрзерума.

Пятница, 7 июля.

Сегодня у меня обедали лидеры кадетской партии, Милюков и Шингарев. Я делюсь с ними своими опасениями по поводу внутреннего положения и интриг, центром которых является Штюмер. Я их спрашиваю:

— Как вы думаете, возможны ли, в более или менее близком будущем, серьезные события?

Милюков отвечает мне следующее (Шингарев с ним согласен):

— Если вы подразумеваете под „серьезными событиями“ народные волнения, или насильственный акт против Думы, то я могу вас успокоить, во всяком случае, на ближайшее время. Будут забастовки, но местного характера и без всяких насилий. В случае же неудачи на фронте, могут начаться волнения; общественное мнение не перенесет нового отступления от Дунайца. Также, в случае голода, можно ожидать серьезных беспорядков. В этом отношении меня очень беспокоит будущая зима. Что же касается действий против Думы, то, я полагаю, что Штюмер и его банда подумывают об этом. Но мы не дадим им для этого ни повода, ни даже предлога. Мы решили не отвечать ни на какие вызовы и противопоставить им терпение и благоразумие. Когда война кончится, тогда посмотрим. Но, при такой тактике, мы подвергаемся нападкам со стороны либеральных кругов, обвиняющих нас в нерешительности, и мы постепенно можем потерять

связь с народными массами, которых возьмут в свои NB
руки люди более решительные.

Я приветствую столь патристическую линию поведения. Но вижу из их слов, что если немедленной опасности еще и нет, то она во всяком случае не за горами.

Они уезжают в 10 часов, так как возвращаются в Павловск.

Я еду кататься на острова.

Такую прелестную ночь я редко видел в Петрограде. Теплая, тихая и ясная ночь. Но ночь ли это? Ведь нет темноты. Значит, это день. Тоже нет—где же дневное освещение? Это скорее вечерний или предра-светный сумрак. На беловатом небе кое-где слабо мерцают звезды. На Стрелке легкий туман, светящийся и серебристый, стоит над Финским заливом. В опаловом освещении березы и дубы, окаймляющие пруды, кажутся каким-то заколдованным лесом, декорацией волшебного сна.

Суббота, 8 июля.

На рижском фронте и у озера Нароч русские захватили целый ряд немецких позиций.

В центре они наступают на Барановичи. На Волыни они перешли Стоход и подходят к Ковно.

С 4 июня они захватили около 266.000 пленных.

Сазонов опять говорил мне сегодня утром:

— Вот когда Румыния должна бы выступить.

Но русское общество вообще настроено недоверчиво, несмотря на достигнутые успехи. Оно желает войны до победного конца, но все меньше и меньше верит в эту победу.

Воскресенье, 9 июля.

Бриан признал, наконец, что для того, чтобы добиться выступления Румынии, нужно действовать не в Петрограде, а в Бухаресте. Он сильно нажимает на Братиано и требует от него решительного ответа.

Вот заключительные слова инструкции, врученной Блонделю, нашему послу в Румынии.

„Все условия, поставленные Братиано, в настоящее время выполнены. Выступление Румынии для того, чтобы иметь какую-либо цену, должно быть осуществлено немедленно. Ей нетрудно энергично напасть на ослабленную и отступающую австрийскую армию, а это было бы чрезвычайно полезно союзникам. Это выступление окончательно бы разбило противника, уже сильно деморализованного, и дало бы возможность России сосредоточить все свои силы против Германии, давая тем ее наступлению возможность развить максимум его силы. Таким образом, Румыния вступила бы в коалицию в подходящий психологический момент, что в будущем дало бы ей право на удовлетворение ее национальных стремлений... Настоящая минута очень решительная. Западные державы все время относились с полным доверием к Братиано и к румынскому народу. Если Румыния не использует представляющейся ей возможности, то она должна будет отказаться от мысли стать, путем объединения всех своих соплеменников, великим народом.

Я передаю эту инструкцию Сазонову, который говорит: „Прекрасно написано. Генерал Алексеев останется так же доволен, как и я“.

Вторник, 11 июля.

Широкое наступление на Сомме превращается в позиционную борьбу. Мы, с трудом подвинувшись на два или три километра, принуждены снова остановиться перед укреплениями громадной мощности.

Опять начнется позиционная война, с ее удручающей медленностью. Эта задержка опасна в отношении России, так как русское общественное мнение и так уже склонно верить, что Германия вообще непобедима.

Среда, 12 июля.

Все министры, в том числе и Сазонов, уехали вчера утром в ставку, куда император созвал их для решения вопроса о польской независимости.

Англо-французское наступление на Сомме уже закончилось. Результаты средние. Продвинулись на 2—4 километра на фронте в 20 километров; взято 10.000 пленных.

Четверг, 13 июля.

Сегодня утром Бьюкенен и я отправляемся, в виду отсутствия Сазонова, к товарищу министра, Нератову, человеку сдержанному и осторожному.

Мы беседуем с ним о Румынии, как вдруг открывается дверь, и входит Сазонов, прямо с дороги. Несмотря на двадцать четыре часа, проведенные в вагоне, вид у него свежий, взгляд оживленный. Он весело спрашивает:

— Я не помешаю?

Затем садится и говорит:

— Я привез хорошие вести и могу сообщить их вам, но только под большим секретом.

Мы поднимаем руки, в знак клятвы молчания.

Тогда он нам передает следующее:

— Император вполне склонился на сторону моих взглядов, хотя, могу вас уверить, были жаркие прения. Но это ничего. Я одержал победу по всей линии. Какие вытянутые лица были у Штюрмера и Хвостова! Но вот что важнее. Его величество повелел в спешном порядке представить ему проект манифеста о провозглашении польской независимости, и мне поручено его составить.

Лицо его сияет радостью и гордостью. Мы поздравляем его от всей души. Он продолжает:

— Теперь прощаюсь с вами—еду в Финляндию и там буду спокойно работать. Вернусь через неделю.

Я его останавливаю:

— Сообщите мне, ради бога, что-нибудь о проекте автономии, принятом императором! Будьте великодушны! Я обещал вам полный секрет.

— Полный секрет! Будете хранить?

— Буду хранить, как тайну судилища инквизиции, нарушение которой наказуется вечными муками.

— В таком случае, я продолжу свое конфиденциальное сообщение. Вот программа, принятая императором:

1) Царством Польским будет управлять наместник императора или вице-король, совет министров и парламент, состоящий из двух палат.

2) Все управление будет сосредоточено в руках этого правительства, за исключением дел, касающихся армии, дипломатии, таможни, общих финансов и железных дорог, имеющих стратегическое значение; эти дела останутся в ведении центральной власти.

3) Административные пререкания между царством и империей будут разрешаться сенатом, заседающим в Петрограде, который объединит в себе функции нашего

нашего Государственного Совета и нашей высшей апелляционной инстанции: будет образован особый департамент сената, с равным числом русских и польских сенаторов.

4) Присоединение австрийской и прусской частей Польши будет предусмотрено в следующих словах: „Если бог дарует нашим войскам победу, то все поляки, которые сделаются подданными императора и короля, будут пользоваться благами изложенного выше государственного устройства“.

Оставляем Сазонова с Нератовым и отправляемся в Бюкененом в свои посольства.

Понедельник, 17 июля.

Державы, наконец, стоворились коллективно просить Румынию примкнуть, без дальнейших промедлений, к их союзу.

Генерал Алексеев установил 7-ое августа, как крайний срок для выступления румынской армии.

Вторник, 18 июля.

У Луцка, на границе Волыни, русские теснят австро-германцев и захватили 13.000 пленных.

Русские передовые части переходят через Карпаты.

Четверг, 20 июля.

Сегодня утром мы были вместе с Бюкененом у Нератова; нас поразила его мрачный вид. Он говорит нам:

— У меня имеются серьезные основания опасаться, что мы вскоре лишимся Сазонова.

— В чем дело?

++++

— Вы знаете, что против Сазонова давно ведется кампания, и вы знаете—кем. Его недавний успех по польскому вопросу теперь использовали против него. Из слов лица, очень ему преданного и вполне внушающего доверие, я заключаю, что его величество решил его отставить.

Если такой осторожный и сдержанный человек, как Нератов, так говорит, значит нет никаких сомнений.

Мы оба, Бьюкенен и я, хорошо понимаем, какие это повлечет за собой последствия. Нам нечего советаться.

Бьюкенен спрашивает:

— Не думаете ли вы, что г-н Палеолог и я могли бы оказать некоторое влияние на решение вопроса об отставке Сазонова?

— Может быть.

— Но что же предпринять?

Чтобы иметь время собраться с мыслями, я прошу Нератова точно передать мне сообщенное ему неприятное известие.

— Лицо, передавшее мне это сообщение,—говорит он,—видело проект письма, которое его величество повелел приготовить. Оно изложено в лестном тоне; Сазонов освобождается от его обязанности в виду состояния его здоровья.

Я ухватываюсь за эти последние слова. Они могут, по-моему, служить законным поводом для вмешательства послов Франции и Англии. Затем тут же, за столом Нератова, я составляю текст телеграммы от Бьюкенена и от себя нашим военным миссиям в Могилев, предлагая им ознакомить с этими телеграммами министра двора. Вот их содержание:

„Мне сообщают, что Сазонов, по состоянию своего здоровья, подал прошение об отставке его величеству. Благоволите совершенно официально проверить у министра двора, насколько верно это известие.

„Если это действительно так, то благоволите немедленно указать Фредериксу, что достаточно одного слова ободрения со стороны его величества, чтобы Сазонов сделал над собой новое усилие, которое дало бы ему возможность довести свое дело до конца.

„Английский посол и я очень встревожены тем впечатлением, которое произведет в Германии отставка русского министра иностранных дел; ибо усталость его является недостаточным поводом для объяснения его ухода.

„В наступающий решительный час войны, все, что рискует показаться изменением политики союзников, могло бы, повести за собой самые неприятные последствия“.

Нератов вполне одобряет телеграмму. Мы с Бьюкеноном возвращаемся в посольство и отправляем телеграммы в Могилев.

Днем я узнаю из очень верного источника подробности интриги против Сазонова. Та, кто мне их сообщает, еще не знает, как далеко зашло дело; я же ей не сообщаю того, что мне известно. Но она говорит мне:

— Положение Сазонова сильно пошатнулось; он утратил доверие их величеств.

— Но что же ставится ему в вину?

— Его упрекают в неумении ладить со Штюмером и в слишком большом умении ладить с Думой. Затем, его ненавидит Распутин, а этого достаточно.

— Значит, императрица и Штюмер действуют вполне заодно?

— Да, вполне. Штурмер большой хитрец; он уверил ее, что одна она может спасти Россию. И вот она сейчас и занята спасением России—для этого вчера вечером неожиданно уехала в Могилев.

Пятница, 21 июля.

Наступление русских в Армении блестяще развивается.

На черноморском побережье они заняли Вакси-Кебир, к западу от Трапезунда; передовые части дошли до долины Келкит-Ирмак.

Взятие Гемиш-Кане отдает в их руки большую дорогу из Трапезунда на Эрзерум с разветвлением на Эрзингиан. Быстрым движением по долине Верхнего Евфрата они угрожают этому городу.

Суббота, 22 июля.

Генерал Жанэн и генерал Уильямс передали министру двора полученное ими сообщение. Вот ответ, полученный от генерала Жанэна:

„Министр двора, хотя не во всем согласен с Сазоновым, уже указал императору на то, что его отставка, при теперешних обстоятельствах, произведет неблагоприятное впечатление. Император ответил, что чрезмерное утомление Сазонова, лишаящее его сна и аппетита, не позволяет ему продолжать его работу; кроме того, его монаршее решение принято бесповоротно. Все-таки, граф Фредерикс обещал показать императору подлинные телеграммы английского и французского послов, но он прибавил, что он не просит его величество отвечать на них“.

Сазонов еще в Финляндии; он вчера узнал о своей отставке. Он принял это известие спокойно и с достоинством, как этого можно было ожидать от него.

В сущности,—сказал он, его величество поступил правильно, отказавшись от моих услуг—слишком на многим вопросам я расходился со Штюмером.

К вечеру Нератов сообщил мне, по особому распоряжению его величества, что уход министра иностранных дел ни в чем не изменит внешней политики России.

Воскресенье, 23 июля.

Сегодня в утренних газетах официально сообщается об отставке Сазонова ¹⁾ и о замене его Штюмером. Коментариев в газетах никаких.

Я обедаю сегодня в Царском Селе у великой княгини Марии Павловны, вместе с княгиней Палей, Нарышкиной и свитой.

После обеда великая княгиня уводит меня в глубинку сада, приглашает сесть около себя и беседует со мной.

¹⁾ Вот текст высочайшего рескрипта на имя Сазонова:

Сергей Дмитриевич. Посвятив себя, с начала вашей государственной службы, внешней политике, вы несли важные обязанности в дипломатической области. В 1910 г. я призвал вас на ответственный пост министра иностранных дел. Исполняя трудные обязанности по управлению обширным министерством, вы с неустанным рвением в точности выполняли мои указания, вышесказанные требованиями справедливости и чести нашей дорогой родины.

Ввиду состояния вашего здоровья, пошатнувшееся под влиянием непосильного труда, заставило вас просить меня об освобождении вас от возложенных на вас обязанностей.

Снисходя к вашей просьбе, я считаю своим долгом выразить вам искреннюю благодарность за вашу усердную службу. Пребываю к вам высочайше благосклонный и искренно благодарный

Николай⁴.

Ставка, 7 июля 1916 г.

—Вы не можете себе представить, как меня огорчает настоящее и как беспокоит будущее. Как, по вашему мнению, это произошло? Я вам расскажу то немногое, что знаю сама.

Мы сообщаем друг другу то, что мы знаем. Вот к чему мы приходим:

Император был вполне согласен с Сазоновым в вопросах внешней политики, так же и в польском вопросе, так как император разделял его взгляды и даже поручил ему написать манифест к польскому народу. По поводу внутренней политики Сазонову не приходилось высказывать своих либеральных взглядов, да и он мог говорить только как частный человек, а взгляды его самые умеренные. Он был в прекрасных отношениях с генералом Алексеевым. Поэтому, надевавшую шуму отставку нельзя об'яснить никакими явными причинами. Напрашивается, к сожалению, единственное об'яснение, а именно то, что камарилья, орудием которой является Штюрмер, захотела захватить в свои руки министерство иностранных дел. Распутин уже несколько недель как твердит: „Надоел мне этот Сазонов, надоел...“ По настоянию императрицы, Штюрмер отправился в Ставку просить отставки Сазонова. Императрица сама затем поспешила на помощь. Император уступил.

Великая княгиня, заканчивая беседу, спрашивает меня:

— Значит, у вас такое впечатление, что дела плохи?

— Да, очень не хороши. При французской монархии тоже уволили, под влиянием придворной клики, прекрасных министров, это были Шуазель и Неккер. Ваше высочество знаете, что случилось потом...

На Волыни, при слиянии Липы и Стири, армия генерала Сахарова разбила австро-германцев; взято в плен 12.000 человек.

Среда, 25 июля.

Я сегодня телеграфировал в Париж:

„По отношению к будущему я смотрю на создавшееся здесь положение так:

„Я не предвижу никаких изменений ни немедленных, ни в ближайшем будущем, во внешней политике России; заявление императора, переданное мне 22 июля Цератовым, внушает мне полную уверенность для настоящего времени. По всей вероятности, официальные действия императорской дипломатии будут продолжаться в прежнем направлении. Но следует ожидать появления в м—ве иностр. дел новых лиц и нового настроения. Наши переговоры отныне не останутся тайной для некоторых германофильски настроенных лиц, которые, поддерживая косвенные связи с немецкой аристократией и финансовыми кругами и питая отвращение к либерализму и к демократии, являются полными сторонниками примирения с Германией.

„В настоящее время эти лица могут действовать только окольными путями, и очень осторожно, в желательном для них направлении. Национальный подъем еще настолько велик, что играть в открытую для них невозможно. Но если через несколько месяцев, к началу зимы, наши военные успехи не оправдают наших надежд, если русская армия будет иметь больший успех, чем наша, тогда немецкая партия в Петрограде станет опасной благодаря поддержке со стороны своих сообщников в министерстве иностранных дел.“

Среда, 26 июля.

В газетах сообщается, что бывший военный министр Сухомлинов перевезен из Петропавловской Крепости в психиатрическую лечебницу вследствие нервного расстройства.

По моим сведениям, у него только неврастения. Впрочем, никто не придает веры такой мотивировке его перевода.

Четверг, 27 июля.

Полковник Рудеану, румынский военный атташе в Париже, заключил соглашение с делегатами союзных главных штабов. По этому соглашению, Румыния обязуется выставить армию в 150.000 человек для немедленного нападения на болгар; одновременно должно начаться наступление Салоникской армии. Это соглашение, которым регулируются отношения между обеими группами войск, подписано 23 июля.

Таким образом, предполагается движение с двух сторон по направлению к Софии; идея очень хороша; ее исполнение оправдывает наши продолжительные операции у Салоник.

Но вчера, из секретного источника, я узнал, что румынское правительство не только не думает немедленно выступить против Болгарии, а напротив, ведет тайные переговоры с царем Фердинандом. Это известие отчасти подтверждается телеграммой, полученной Бюккеноном от английского посланника в Букаресте; по словам этой телеграммы, председатель румынского совета министров никогда не допускал мысли о выступлении против Болгарии или даже об объявлении ей войны.

Пятница, 28 июля.

Русский посол в Букаресте, Поклевский, телеграфировал, что Братиано категорически отказывается выступить против Болгарии. Английский посланник, сэр Джордж Барклей, настаивает на необходимости для держав согласия отказаться от требования наступления на Болгарию: иначе возможна „безвозвратная потеря надежды на содействие Румынии“. Бьюкенен и я обсуждаем этот вопрос с Нератовым. Он считает, что союзные державы должны требовать от Братиано исполнения требований, изложенных в конвенции Рудену. Бьюкенен поддерживает мнение Барклея. Я раздельно точку зрения Нератова.

Я напоминаю о всех жертвах, принесенных Францией для поддержки интересов союзников на Балканском полуострове:

— Французское общественное мнение, — говорю я, — никак не сможет понять наступления от Салоник без одновременного выступления на Дунае. Оно будет возмущено при мысли, что французские солдаты будут гибнуть в Македонии для того, чтобы дать возможность Румынии легче присоединить к себе Трансильванию. Я не великий знаток стратегии, но думаю, что Румынии самой было бы важно обеспечить себя от болгар, прежде чем заходить на север от Карпат. Что касается предположенных секретных переговоров между Букарестом и Софией, то я уверен, что они ни к чему не приведут. Я был бы в отчаянии, если бы они удались; в таком случае, все болгарские силы обратились бы против салоникинской армии.

Нератов вполне со мной согласен.

Суббота, 29 июля.

Русская армия одержала вчера крупную победу под Бродами в Галиции.

Сегодня днем у меня был с официальным визитом Штюмер. Он, как всегда, слащав и церемонен. Он мне сказал, что, поручая ему министерство иностранных дел, император предписал ему держаться той внешней политики, как и раньше, т.е. действовать в полном единении с союзниками.

— Я особенно хочу, — говорит он, — быть заодно с правительством Республики, потому прошу вашего содействия и полного доверия с вашей стороны.

Я благодарю его за это пожелание, уверяю его в своем дружеском рвении к совместной работе, и поздравляю со счастливым предзнаменованием, — победой у Брод, — при котором он начинает свою деятельность.

Затем я стараюсь навести его на объяснение о конечных целях его политики и об его взгляде на будущую судьбу Германии. Мне показалось, что у него смутное представление об этом вопросе, он даже, по видимому, не знает личного мнения императора; но все же, он произносит слова, которые я слышал несколько раз от государя:

— Никакой пощады, никакой милости для Германии!

Он прощается со мной, расточая приторные любезности. На пороге еще раз говорит:

— Никакой пощады, никакой милости Германии.

Воскресенье, 30 июля.

Английское правительство просит русское правительство не настаивать на наступлении Румынии на Болгарию.

Меня спрашивает по этому поводу Нератов, и я повторяю ему те же доводы, что и третьего дня. Говорю, что я вообще не могу понять, зачем посылать 50.000 русских в Добруджу, если они там будут бездействовать, в то время как на салоникскую армию будет направлен весь удар болгарских сил.

В течение дня Нератов сообщает мне, что генерал Алексеев не допустил бы посылки 50.000 русских в Добруджу, если задачей им не было бы поставлено немедленное наступление на Болгарию.

Понедельник, 31 июля.

Русское наступление продолжается на фронте в 150 километров; русские войска на Волыни и в Галиции отбросили австро-германцев к Ковелю, Владимиру-Волынску и Львову; захвачено 60.000 пленных. С начала этой крупной операции русские взяли в плен 345.000 человек.

В Армении турки, вытесненные из Эрдзингана бегут к Карпугу и Сивасу.

Вторник, 1 августа.

Бриан телеграфирует мне:

„Я согласен с сэром Эдуардом Греем и генералом Жоффром, что мы, в конце концов, могли бы не требовать немедленного объявления войны Болгарии со стороны Румынии, потому что весьма вероятно, что немцы принудят болгар немедленно напасть на румын, и тогда русские части всегда успеют начать военные действия“.

Но также вероятно, что румыны, не подготовившиеся к действиям к югу от Дуная, а сосредоточив-

шие свои главные силы на Карпатах, подвергнувся
опасному нападению со стороны болгар.

Четверг, 3 августа.

У меня сегодня был Сазонов. Он приехал из Финляндии и вчера прощался с чинами министерства иностранных дел.

Мы долго и дружественно беседуем с ним. Он такой, каким я и ожидал его видеть: полон спокойствия, достоинства, без малейшей горечи; он рад для себя лично, что освободился от тяжелых обязанностей, но он печалится и тревожится за будущее России. Он подтверждает все то, что я слышал об обстоятельствах его отставки.

— Императрица относится ко мне враждебно, — говорит он. — Втечение года она не могла простить мне, что я умолял императора не брать на себя командирования армией. Она так настаивала на моей отставке, что император в конце концов уступил. Но к чему этот скандал? К чему весь этот шум? Можно было легко найти повод для моей отставки в состоянии моего здоровья. Я самым лояльным образом пошел бы навстречу. Наконец, зачем же император принимал меня в последний раз так доверчиво, так ласково?

С выражением глубокой печали, он так резюмирует происшедшее:

— Император царствует, но правит императрица, инспирируемая Распутиным. Увы! Да хранит нас бог!

Пятница, 4 августа.

Я ездил сегодня один на автомобиле по дороге в Сестрорецк, вдоль северного побережья Кронштадтской бухты. Чистое голубое небо, яркое освещение,

бесконечная даль горизонта, спокойствие и простор
полю — все это прекрасно способствует углублению
в себя.

Я думаю о мрачных перспективах, создаваемых
отставкой Сазонова. Будущее более, чем когда-либо,
по прекрасному выражению Босюэ, кажется мне „ночью,
полною загадок и мрака“. Я допускаю отныне возмож-
ность выхода России из войны, и французское правитель-
ство должно иметь в виду эту возможность, при своих
политических и стратегических расчетах. Император
Николай, конечно, останется верен союзу с нами, в этом
я несколько не сомневаюсь. Но ведь он не бессмер-
тен. Сколько русских, и особенно в самой близкой к нему
среде, втайне желают его исчезновения. Что может
происойти при смене царя? На этот счет у меня нет
иллюзий: Россия тогда немедленно откажется от уча-
стия в войне. Разве не было тому прецедентов в исто-
рии? Могу ли я забыть, как во время семилетней
войны Петр III, только что вступив на престол, от-
казался от союза с Францией и позорно заключил мир
с Фридрихом II?... Я рассматриваю все возможности и
все последствия допускаемой мной гипотезы. Несмотря
на самое строгое отношение к себе и своим рассу-
ждениям, я прихожу к убеждению, что моя уверенность
в нашей окончательной победе остается непоколебимой.
Но одна мысль, мелькавшая несколько раз в моем уме,
теперь твердо и уверенно укрепила во мне, как ло-
гический вывод из моих рассуждений. У меня было
слишком упрощенное представление о нашей оконча-
тельной победе. Австрия и Германия обречены на по-
ражение, — в этом я твердо уверен. Но пока это слу-
чится, пройдет много времени, и чем больше его прой-
дет, тем слабее будет участие России в войне. Если

же Россия не выдержит роли союзника до конца, если она раньше времени выйдет из рядов бойцов, и станет жертвой революционного брожения, то она неизбежно отделит свои интересы от наших. Она тогда поставит себя в невозможность участвовать в плодах нашей победы; тогда она разделит судьбу центральных держав.

Суббота, 5 августа.

Генерал Алексеев, разделяя мнение генерала Жоффра и Бриана, согласен на то, чтобы удар румынской армии был направлен исключительно против Австрии; он согласен отложить действия против болгар; он считает, впрочем, что операции начнутся сами собой. Наконец, он настаивает на необходимости положить конец уверткам Братиано, назначив окончательный срок для выступления Румынии.

Воскресенье, 6 августа.

Братиано попрежнему оттягивает и торгуется; я считаю, что он еще надеется на непосредственное соглашение с Болгарией. Продолжая свою прежнюю игру, он приписывает промедление противодействию со стороны России. Следствием этого являются новые недоразумения между Парижем и Петроградом.

Сегодня утром мне было поручено сообщить императору телеграмму президента Республики.

Я передал ее Штюмеру и повторил те же доводы, которыми я его дожимал последнее время; самый главный довод—это громадные жертвы, уже принесенные Францией для общего дела, сокращение численности наших войск, polegших под Верденом.

Штюмер больше всего боится, чтобы император не услышал что-нибудь для него, Штюмера, неприятное, и потому он уверяет меня в своей верности союз-

никам и воздает хвалы верденским бойцам. Затем он прибавляет:

— Я придаю не меньше значение немедленному выступлению Румынии, чем ваше правительство. Вы знаете также взгляд генерала Алексеева на этот вопрос. В военных делах его авторитет для императора непререкаем. Вы помните, ведь это он требовал прекращения уверток Братиано, назначив срок окончания переговоров. И он был совершенно прав. Поверьте мне, мы напрасно снова начали переговоры с румынским правительством; нам нужно было настаивать на наших условиях столь мягкого меморандума от 17 июля и недопускать никаких переговоров. Совершенно ясно, что Братиано старается только выиграть время. Генерал Алексеев первоначально назначил окончательным сроком 7 августа; его пришлось продлить до 14 августа. Теперь он требует выступления Салоникской армии за десять дней до начала действий со стороны Румынии только для того, чтобы добиться новой отсрочки. Я еще раз скажу, — напрасно мы поддаемся его совершенно явной игре. Но все-таки, я обещаю вам полностью передать его величеству все то, что вы слышали.

Есть причина, по которой Штюмер искренен в этом случае: генерал Алексеев взял в свои руки решение вопроса относительно Румынии, а император во всем с ним согласен. Штюмер же знает, что генерал Алексеев его осуждает и презирает; не желая портить отношений с ним, Штюмер пасует перед ним и старается ему угождать.

Среда, 9 августа.

Вот ответ императора на телеграмму президента Республики, которую я передал ему три дня тому назад:

„Я вполне согласен с вами, г. президент, в необходимости немедленного выступления Румынии, и я повелею моему министру иностранных дел уполномочить моего посланника в Бухаресте подписать конвенцию, которая будет заключена между г. Братиано и союзными державами“.

Подход германских и турецких подкреплений, задерживает продвижение русской армии в Галиции. Тем не менее, русские войска подходят к Тарнополю и Станиславу.

Четверг, 10 августа.

Сегодня завтракали у меня генерал Леонтьев, назначенный командовать русской бригадой во Франции, Димитрий Бенкендорф, князь Маврикий Замоиский, граф Владислав Велепольский и др.

После завтрака была беседа с Замоиским и Велепольским. Они говорили мне, что их очень волнует и беспокоит новая политика русского правительства в польском вопросе; император настроен попрежнему либерально, но они считают, что он не устоит перед интригами реакционной партии и систематическим, неослабным нажимом со стороны Распутина и императрицы.

Замоиский уезжает вскоре в Стокгольм; я пригласил его завтракать на этих днях.

Пятница, 11 августа.

Итальянцы третьего дня заняли Горицу, где они захватили в плен 15.000 человек; они продолжают наступать на восток.

На правом берегу Серета австро-германцы снова разбиты. Русские заняли Станиславов.

Ах, если бы румыны выступили месяц тому назад!..

Суббота, 12 августа.

Когда я думаю о тех признаках политического и социального разложения, которые проходят передо мною, и жалею, что в современной русской литературе нет сатирика, равного Гоголю, который написал бы новые „Мертвые Души“, но несколько более пространные и более мрачные.

Я вспоминаю слова, вырвавшиеся у Пушкина по прочтении этого жестокого произведения: „Боже мой! Какая печальная страна Россия“!

Воскресенье, 13 августа.

За последнее время я виделся с русскими и французскими промышленниками, живущими в Москве, Симбирске, Воронеже, Туле, Ростове, Одессе, в Донецком бассейне; я их спрашивал: считают ли в тех кругах, где они вращаются, главной целью войны завоевание Константинополя? Они отвечали почти одно и то же; вот резюме их слов:

В сельских массах мечта о Константинополе всегда была неопределенной; она стала теперь еще более туманной, далекой и нереальной. Какой-нибудь священник иногда напомним им, что освобождение Царьграда из рук неверных и водружение креста на святой Софии есть священный долг русского народа. Его выслушивают с покорным вниманием, но его словам не придают большего значения и смысла, чем проповеди о страшном суде и о муках ада. Надо еще заметить, что крестьянин, по природе своей миролюбивый и со-

страдательный, готов брататься с неприятелем; он все с большим ужасом относится к жестокостям войны.

В рабочей среде совершенно не интересуются Константинополем. Считают, что Россия и так достаточно обширна и что царское правительство напрасно проливает народную кровь ради нелепых завоеваний; лучше было бы, если бы оно позаботилось о положении пролетариата.

Буржуазия, купцы, промышленники, инженеры, адвокаты, доктора и т. д., признают значение для России вопроса о Константинополе; эти круги знают, что пути через Босфор и Дарданеллы необходимы для вывоза хлеба из России; они не хотят, чтобы приказ из Берлина мог запереть этот выход. Но в этих кругах отрицательно относятся к мистическим и историческим положениям славянофилов; там считают достаточной нейтрализацию проливов, охраняемую какой-нибудь международной организацией.

Мысль о присоединении Константинополя живет еще только в довольно немногочисленном лагере националистов и в группе либеральных доктринеров.

Но, кроме вопроса о Константинополе и о проливах, отношение русского народа к войне вообще удовлетворительное. За исключением социалистических партий и крайнего правого крыла реакционеров, все уверено в необходимости вести войну до победного конца.

Понедельник, 14 августа.

Сегодня снова завтракал у меня граф Маврикий Замойский, вскоре уезжающий в Стокгольм. Он горячий патриот, человек прямодушный, ума ясного и практического. Наша беседа продолжается часа два; мы говорим исключительно о Польше и об ее будущем.

Во всем, что он мне говорит или дает понять, я слышу отклик тех рассуждений, которые со времени отставки Сазонова страстно занимают польское общество в Петрограде, Москве и Киеве.

Все возрастающее влияние среди правительственных кругов реакционной партии, без сомнения, отодвигает и усложняет разрешение польского вопроса. С одной стороны, несмотря на успехи русского оружия в Галиции, поляки уверены, что России не выйти победительницей из войны, и царский режим, которому приходится плохо уже теперь, готовится к соглашению с Германией и Австрией, за счет Польши. Под влиянием этой мысли, снова разгорается старая ненависть к России; к ней примешивается насмешливое презрение к русскому колоссу, слабость которого, его беспомощность и его нравственные и физические недостатки так ярко бросаются в глаза.

Не доверяя России, они считают себя ничем не обремененными по отношению к ней. Все их надежды сосредоточены теперь на Англии и Франции; они при этом безмерно расширяют свои национальные требования.

Самостоятельность Польши под скипетром Романовых уже их не удовлетворяет: они хотят полной, абсолютной независимости и такого же восстановления польского государства; они успокоятся только тогда, когда их требования будут удовлетворены мирным конгрессом. Более, чем когда-либо, они не признают за царским правительством права возглавлять славянские народы, говорить от их имени и стоять во главе их исторической эволюции; русские должны, наконец, понять, что в отношении цивилизации поляки и чехи их сильно опередили.

Вторник, 15 августа.

Многие русские, я сказал бы, почти большинство русских, настолько нравственно неуравновешены, что они никогда не довольны тем, что у них есть, и ничем не могут насладиться до конца. Им постоянно нужно что-то новое, неожиданное; нужны все более сильные ощущения, более сильные потрясения, удовольствия более острые. Отсюда их страсть к возбуждающим и наркотическим средствам, ненасытная жажда приключений и большой вкус к отступлениям от морали.

Как резюме беседы, внушившей мне эти мысли, я приведу грустное признание, которое Тургенев влагает в уста одной из своих героинь, очаровательной Анны Сергеевны Одинцовой: „Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатичными людьми, отчего все кажется скорее намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастье, чем действительным счастьем, то-есть таким, которым мы сами обладаем? Отчего это? Или вы, может быть, ничего подобного не ощущаете?“ Ее собеседник отвечает: „Вы знаете поговорку: там хорошо, где нас нет“...

Среда, 16 августа.

Между Днестром и Золотой Липой русские продвигаются вперед. Вчера они заняли Яблоницу.

Переговоры в Бухаресте почти закончены...